

Теперь ему трудней... А современникам, напротив, легче — упоминать безупречное имя в предвыборных дебатах, всей общественностью обсуждать проекты монумента на Арбате, не спросив ни о чем только семью поэта.

Он ошеломил Москву когда-то тем, что вышел к слушателю один. Без хора и оркестра. И был почти полвека воплощением самого трудного и абсолютно необходимого принципа личной ответственности, личного мнения и личной чести.

«Три легенды об Окуджаве» Станислава Рассадина — не эссе, не воспоминания, — а напоминание об этой, самой главной песенке.

● «Новая газета»

Без малого сорок лет назад в коридоре «Литгазеты», где я служил (а этажом ниже занимал кабинетик Булат Окуджава, наш «завсгхми»), меня остановил Георгий Владимов. Ныне — автор «Верного Руслана», «Генерала и его армии», а тогда лишь ступивший на стезю сочинителя художественной прозы.

— Слушай, это правда, что Булат написал такую песню: рота солдат изнасиловала девочку. Без, дескать, ничего, война все спишет?

Я на мгновение онемел, тут же со смехом сообразив: речь о нежнейшем стихотворении про «девочку по имени Отрада». «Ты клянись, клянись, моя рота, самой высшей клятвой войны: перед девочкой с Южного фронта нет в нас ни грамма вины. ...Мы идем на Запад, Отрада, а греха перед пулями нет».

Это сознание безгрешности перед угрозой гибели — как чистая рубаха, надеваемая перед боем. И вот — слух о песне, будто бы не только отрадившей грязь войны, но оправдавшей ее. В чем дело?

В общем-то, все понятно. «Былым защитникам державы, нам не хватало Окуджавы», — напишет Давид Самойлов, вспоминая тот песенный сброд, что пелся в послевоенных компаниях. Да, мы все ждали его появления, не подозревая, что находимся в состоянии ожидания, тем более не догадываясь, что и кого ждем. Вот молодой Жора Владимов, едва прослышав о фабуле новой песни, и предвидит уже заранее тогдашнюю «чернуху». Как иначе? Надоевшая сладкая ложь о страшной войне, чем нас перекормили.

Так же песню о «часовых любви», которые «на Смоленской стоят... у Никитских не спят», молва истолкует как стихи о проститутках. Так озорное: «А мы швейцару: «Отворите двери!..» обвиняет в прославлении золотой молодежи, «плесени», и уж на этот раз обвинителем выступит сам хрущевский подручный Л. Ф. Ильичев. И Окуджаве пришлось-таки объяснять: речь — о студенческой голи, хота, казалось бы, и объяснять-то зачем? «А Люба смотрит: что за красота! А я гляжу: на ней такая брошка! Хоть напрокат она зыблется...» Это что ж? Дочки советской знати берут бижутерию напрокат? Это они, как невиданной красоте, дивятся дешевой роскоши общепитовского интерьера?

Тем не менее... Это сегодня Лужков, поздравляя с юбилеем «Литературную газету», может сказать, что в ней работали и публиковались «корифеи отечественной литературы — Михаил Шолохов и Булат Окуджава». Это сегодня новым поколениям чудится, будто судьба песен Окуджавы была беспечальной. Одни полагают так, оттого что — любят, не представляя себе возможность чьей бы то ни было неприязни. Другие считают Окуджаву прониорой, взявшим свое (даже — свое ли, не чужое ли часом?) за счет потакания неразборчивым вкусам. А то и умения ладить с властями.

Что ж. Попробуем и последнее воспринять как составную часть феномена «Булат Окуджава».

Нельзя было не понять негодования партийных верхов на счет иллюзий, которые просвечивали сквозь игровую структуру иных стихотворений, — как для сторожких цензоров, так и для слушателей-читателей, не избалованных прямоговорящей



ТРИ ЛЕГЕНДЫ ОБ ОКУДЖАВЕ. ПЕРВАЯ:

БАЛЛОВЕНЫ СУДЬБЫ

сатирой. «Со двора подъезд известный под названием «черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает Черный кот», — пел Окуджава, и мы улавливали... Что? Намек на неискоренимую память об усатом тиране («Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит»)? Возможно. Хотя еще возможно то, что сочинитель песни не заикливался именно на Сталине, по крайней мере на нем одном, и аллюзии тут немногим больше, чем в сказке Чуковского «Тараканище». Там ведь тоже: «Покорились звери усатому. Чтоб ему провалиться, проклятому!», но сам Корней Иванович был изумлен, когда в период послесталинской «оттепели» его принялись уверять, что «Тараканище» есть сатира на того, кого при жизни шепотом называли: Ус, Усач, Батка усатый. «Напрасно я говорил, что писал «Тараканище» в 1921 году...»

Общий, всех цепенящий страх, чего добивается и что оставалось после себя тоталитарная власть, страх иррациональный — вот что зафиксировал Окуджава. Страх, им высмеянный? Да, ибо песенный кот, в отличие от непомянутого генерального Усача, не мог принести запуганным обывателям ощутимого вреда. «Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит». Но тем более живуч страх, воспроизводящий себя самого.

С «Черным котом» — дело ясное. Однако с необъяснимой враждебностью встречались и те песни Окуджавы, в которых не было ничего такого. «Полночный троллейбус», «Московский муравей»...

«Белогвардейскими» обозвал мелодии Окуджавы взрывавший Соловьев-Седой (обвинение небезопасное, прозвучавшее задолго до разрешенной моды на корнетов Оболенских и поручиков Голицыных). А другой композитор... Цитирую воспоминания А. Городничского:

«После концерта, уже в гардеробе, к Окуджаве подскочил именитый в те поры и облаканный властями Иван Дзержинский, автор популярной в ста-

кой репутацией, добавил: да, мол, товарищи, вот вам и иллюстрация к просмотренной ленте...

Еще и еще раз: Ильичев, Соловьев-Седой, Дзержинский — тут все понятно. Опасно, но не обидно. Но эти-то, свои-то — за что?

А за то самое. За то же, за что — вдруг — Окуджаву принялись травить в поздние, перестроечные и постперестроечные годы. И уж этим он был

кричала и в сочинениях небездарного Дмитрия Галковского, с отчаяния потребовавшего, чтоб Окуджава убирался с занятого им плацдарма. (Как понимать? Чтоб чудодейственно стерся из общей памяти? Чтоб попросту помер? Если так, то испытал ли Галковский должное облегчение, услышав о смерти хулимого им поэта?)

В сущности, почему бы и не испытать? «Когда Булат, — вспоминает Юрий Карякин,

Наум Коржавин вспоминал, как впервые услышал песню «Мне нужно на кого-нибудь молиться...»:

— Он поет: «и муравей создал себе богиню по образу...» — и я думаю с ужасом: сейчас сплет: «подобно своему» — и все пропало! А когда он спел: «по образу и духу своему», у меня самого дух захватило. Он проскочил над пропастью, не заметив ее. Я был ошеломлен: «Твою мать!» — а Булат ничего



Ольга Арцимович-Окуджава, Булат Окуджава, Анатолий Рыбаков, Станислав Рассадина, Елизавета Мальцева, Леонид Зорин. Ялта, 1966 г. Фото из архива автора

застигнут врасплох, не то что в хрущевско-брежневщину.

Вот записанный мною наш с ним разговор. Я спросил — полушутя и предвидя ответ: не жалеет ли он, что мы в 1959 году по доброй воле рекомендовали не чужому для него Калужскому издательству первую книжку Станислава Куняева? (Каковой в качестве благодарности вскоре грубо выругал стихи Окуджавы.) Он ответил: нет, не жалею, но едва я распис, настроясь на всепрощение, и сказал, что, коли так, надо пожелать и нынешних молодых дураков, на него насыпающих, как услышал неожиданно жесткое:

— Их мне не жалко. Они мне неприятны. Может быть, это прозвучит грубо, но я их презираю. Когда мне было тридцать лет, тоже была категория старших: Паустовский, Светлов. Я видел у них массу слабостей, но я дружил с ними, любил их. Я терпеть не мог Катаева, но никогда не написал бы про него в газете: «сукин сын»... Мне хочется спросить тех, которые и меня поносят, и всех шестидесятников без разбору: вы-то что сделали? Покажите, что вы умеете? И пока вижу только одну причину злости: бездарность. Комплекс неполноценности...

Так ли? То есть, неполноценность — о да. Бездарность — бывает, но вовсе не обязательно. Дело глубже. И хуже.

Все было до тоскливости ясно, когда графоман-стихотворец, для реванша подавшийся в критику, измыслялся, сообщая, что из Окуджавы песочек сыплется (а Жванецкий блистательно вышутит хама: да, дескать, сыплется, но — какой песочек!). Неполноценность криком

едва успел перенести свои инфаркты, в «Завтра» появилась о нем пакостная статейка. Я встретил автора:

— Разве можно так? И в такой момент?.. Доконать желаете?

В ответ — кривая ухмылка. Этих, таких, и вправду «не жалко» видеть в их звероподобии или ничтожестве. Но — замечательный артист Гостюхин, публично и яростно растоптавший в своем Минске пластинку с песнями Окуджавы в знак несогласия с его выступлением на тему политики. Но — Владимир Максимов, неукротимый редактор журнала «Континент», незаурядный прозаик, давний друг, к которому Окуджава долго пробовал относиться с неистребленной до конца нежностью (и вот именно — жалостью)! Почему он в поздней своей публицистике, угодившей как раз на страницы «Завтра» и «Правды», ни для кого из ругаемых не нашел таких слов унижения? «Престарелый гитарист... Потомок тифлиских лавочников...» Даже — «партийный младотурок»!..

Любовь к Окуджаве была обречена сопровождаться и ненавистью, отмечающей ненавидящих, как клеймо. Вначале то был помянутый официоз, потом — те, кого позорному, но равно сблизяет неприязнь к независимости, как им, вероятно, казалось, оскорбительно вызывающей. При том, что Булат Окуджава вовсе не был склонен к дерзкому вызову, к эпатажу; он просто проходил над пропастью, не замечая ее...

Не замечая — в этом все дело. И пропасть — не моя метафора.

не заметил. Он не то чтобы догадался об этой опасности, но он просто как хотел сказать, так и сказал. Вот это — Булат.

«Об этой опасности»... Здесь поэт говорит о поэте, являя свою поэтическую природу, для которой сказать не точное слово — в самом деле опасность, равносильная падению в пропасть. А то, что пропасть преодолена незаметно, на легком дыхании, даже не в прыжке, но в полете, — и есть проявление того свойства, которое может одних восхитить, других привести в раздражение.

Одних... Других... Тех или этих... Решу сказать, что именно потому Булат Окуджава был обречен — конечно, в смысле небытовом, внутреннем — на одиночество.

Понимаю: странно звучит и попробую разъяснить эту странность в следующий раз. А пока подытожим то, о чем говорили.

В нормальном обществе существованием таких, как Булат Окуджава дорожат. Уже оттого, что — оглядываются, опасаясь: что, подумает, что скажет? Дорожат, как и надобно дорожить олицетворением совести и независимости. В обществе ненормальном, заражающем своей ненормальностью даже тех, кто против общества восстает, таких ненавидят. Слава Богу, не все, даже явное меньшинство, что внушает надежду на нашу историческую небезнадежность.



Станислав РАССАДИН